**Имена собственные**

**(пьеса в одно действие)**

**По пустой сцене ходят в полутьме люди и одновременно разговаривают:**

**- Надя, Антон**

**- сюда…**

**- вон за этим рядом…**

**- пойдем…**

**- здравствуйте!...**

 **- и вы тоже?...**

**- яблочком закуси…**

**- давно не виделись…**

**- справляюсь…**

**- Костенька!**

**- Родной ты мой! Поговори со мной…**

**Их перебивает мужской сердитый голос, как будто бы звучащий откуда-то сверху:**

**- Кому говорить, порядок бы какой?…**

**Женский голос со странным акцентом:**

**- Может быть, начнем с буквы А?**

**Мужской голос:**

**- Кто там начинается на А? Говорите!**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**На сцену выходят мужчина и женщина.**

**Садятся на стулья.**

**Женский голос со странным акцентом:** Анастасия

**Выходит Анастасия и говорит:**

А если ты умерла, Маша, то все, кому мне еще писать? Умерла Маша, кому писать, кому, ты помнишь, русского языка, русский язык уходит, из памяти уходит все, но я хочу тебе написать то, что помню и не получится хорошо.

Мы встречались там, и я пришла старая, ты старая, мы оба уже закончились, в молодости закончились, мне девяносто три, но я еще сама, всё сама, иду в магазин, обуваю джинсы, и платья ещё, и зрение лежит, слепая. А если умереть, то на русском кладбище, но никто не будет ходить, а здесь сестра.

Мне не приснится ещё, давно, но я хочу увидеть Шанхай раз, меньше, и еще написать. Всё было прекрасно.

Распадается, а я нашла тогда, несла в кармане тебе, но ты была и твои, смотрели на виллу Тургенева, а ты говорила – я вру, ошибка, осторожно, плачу, не могу написать, почему не отдала и ты не носишь в кармане, теперь умрёшь, умерла, я тоже, а он пел умер принц, не принц, Маша, кто, зачем мы такие старые и больше не будем, ты меня помнила больше, чем все. Умер король. А ещё сердце в шелка. И я хотела ему дать его, завернуть в шёлк, и сердце из бархат, когда узнала, что он умер в СССР, а он любил меня, пусть мало, и прошло, нигде не осталось, я как легкое безумие, а я его нет, и зачем уехала, лёгкий остров, и так долго была там, что умирать, ничего нет, как оно ещё стучит, Таня, привет от меня детям и мужу, какие выросли большие, я видела в кино, такая осиная, как была я, посылаю последнюю карточку, пусть Маша мне напишет, если она живёт, а если ты умерла, Маша, то всё, но я его не любила.

Мне казалось, что ты была влюблена, и вы сидели, он хмурился, длинные острые уши, как у вампира, кошка на коленях, и он гладил её так, как пианист, у него были такие пальцы, играл на кошке, твой друг принес кофе, зябко, такое птичье слово, я помню, он мёрз. Я думала, не могу любить мужчину, который мёрз, и женский капризный нос, и белое лицо в складку, собранная накрахмаленная скатерть, я хотела любить другого. Писал, ваша красота погубляет меня, я кот, любил котов, сам похож, лысый, египетский, вокруг меня на мягких лапах, вот старая, накрыла бы чёрным себя платком, никогда не увижу больше уже ни тебя, ни его, ни Москву.

**Мужской сердитый голос:** Андрей

**Никто не отвечает.**

**Мужской сердитый голос:** прочерк

**Женский голос со странным акцентом:** Б. Берта.

**Мужской сердитый голос:** Борису приготовиться.

**Выходит Берта и говорит:**

Мы вернулись туда.

От того места ничего не осталось, кроме высокого забора, что за ним — не видно, а раньше — за этим забором был дом отдыха, озеро и два песчаных пляжа. Мы купались только на одном пляже, а другой был дикий, заросший травой, - рассказывала я мужу.

- Озеро точно осталось, - пошутил муж.

Мы еще постояли, подышали сосновым воздухом и уехали.

**Борис выходит и говорит:** Можно я позже включусь. Ничего не могу вспомнить. Ничего. Хоть убейте.

**Женский голос со странным акцентом:** Варвара

**Мужской сердитый голос:** Василию приготовиться

**Выходит Варвара и говорит:**

А она мне говорит – надо было рожать детей в семнадцать лет, после уж тянешь, так и не родишь. Вот ты и не родила. Вот он от тебя и сбежал. Вот твой итог. Одинокая старуха. А я ей говорю: Ты родила в семнадцать. И где они твои дети? Где твой муж? Кому ты нужна, кроме меня? А она говорит: Ты умрешь, и тебя никто не похоронит. Вот, если я буду жива, похороню тебя, сжалюсь. А вот умру? И что ты без меня будешь делать? Кто тебя, дуру брошенную, похоронит? А ей говорю: А я вот за тебя не переживаю. Тебя обязательно похоронят. Дети твои похоронят. Они уже на похороны лет десять копят, все никак не дождутся. Они уже и венки купили, я на балконе у вас видела, думала, елка, что ли стоит. А она говорит: Это не мне венок. Это Паше. Я ей говорю: Вот, Паша еще не умер, вы ему уже все купили. Гроб, наверное, уже заказали? На даче, вместо стола, стоит? А она: Конечно, заранее, потом же ничего не найдешь. Я помню, маму хоронили, ничего найти не могли. Я и себе все купила – платье, платок, белье, все по мелочи. Я ей говорю: А вот Паша умрет, и что ты тогда делать будешь? А она – мне тоже немного осталось, на небесах Царствие небесное, там и встретимся снова, только уже молоденькими, и снова начнется у нас любовь.

А она крепкая корова. До судного дня доживет. Паша там умотается ждать. Дай бог ей здоровья. Баба она хорошая.

А Федя со своей фурфурой заявились ко мне домой вещи его забирать будто, та обошла квартиру и говорит: «Ты построила, а я буду в этом жить». Как в сказке – про лису и зайца. Была у меня избушка лубяная, а стала ледяная. А он стоял и молчал. Вот так. А ты говоришь, были бы дети, не ушел. Я ему все простила, давно простила, они хорошо и не жили потом. Она ему как раз детей родила, один вон алкаш совсем, и у дочери там чего-то все не так. Ну пусть, пусть, Бог им судья. Я чужому горю не радуюсь. Про Федора тоже не вспоминаю. Вот ты спросила, и вспомнила. Мне вот только сказать ему хочется, что не любила его никогда. Я в магазин как-то шла и меня прям молнией пронзило и перестала враз по нему убиваться. Ты если его встретишь, то так и передай, передашь? Скажи ему – дядя Федор, баба Саша велела тебе передать, что не любила тебя никогда, а зачем замуж пошла, сама не знает.

**За Варварой выходит Василий и говорит:**

Она любимая доченька у меня, вот честное слово. Я её так люблю, свою дочь, и вот она приезжала на свадьбу, и я от неё не отходил. Вот так вот идёт, и я за ней. Все два дня.

**Женский голос со странным акцентом:** Галина.

**Мужской сердитый голос:** Геннадию приготовиться

**Выходит Галина и говорит:**

Пятнадцать лет назад моя дочь вообразила себя Анной Карениной. Конечно, такой статью и красотой, какой наделил Толстой Каренину, она не обладала, и полюбила отнюдь не Вронского, но всё же. До встречи с Вронском жила себе безбедно в браке, дочь трехлетка, муж – хороший человек, при должности, и наружности приятной. Хорошая семья. Я радовалась, думала, ну вот, двадцать пять лет дочери, а уже пристроена, и живут отдельно, ни я им, ни они мне не мешают. В гости я к ним редко ходила, к себе тоже не звала, так и жили.

Тут каким-то вечером заявляется дочь, без звонка, в глазах что-то ненормальное и говорит мне — мама, я поживу с тобой.

Я – как поживёшь? У тебя свой дом, у тебя, дорогая, есть, где жить. Она — нет у меня дома, и в комнату свою бывшую сразу проходит. Я за ней.

— Как нет? А куда делся дом твой? С кем Наташенька?

— Наташа с отцом, она с ним пока поживет.

 — Пока что?

Она меня из комнаты вытолкала и дверь на замок закрыла.

Тут я не выдержала, как только её не обозвала. Она ни звука в ответ.

Утром к мужу её на работу, говорю, ангел ты мой небесный, прости ты нас. Он – Галина Викторовна, давайте без этой вашей привычной экспрессии, не хочу, чтобы моя частная жизнь становилась достоянием рабочего коллектива, и шепотом: Ваша дочь завела себе любовника. Что я могу?

Я в слезы: Да что же она за стерва за такая. Он мне — тише, прошу вас, тише, нас слушают. Значит, такую воспитали. Что посадили, то и выросло.

Я её пыталась вразумить. Всю душу сорвала. А она закроется от меня и лежит. При мне и носа из комнаты не казала, только я на работу, она на кухню, и чай мой пила, и еду мою ела, вот так. Денег у ней не было, при муже не работала и на всем готовом жила.

А потом Вронский этот её забрал. Я ей тогда ни слова не сказала, а она мне - мам, за что ты так меня ненавидишь, а я не отвечаю, не опускаюсь до разговоров.

В общем, ушла.

Как они там жили, не знаю. Только через три месяца снова ко мне вернулась, худая, страшная, думаю, бросил, значит. Она снова на кровати лежит, спиной ко всему миру, не ест, не пьёт. Я то супчиком её накормлю, то пироженок куплю, сердце разрывалось от жалости к ней, дуре.

А однажды она нарядилась, причесалась, комнату свою чисто убрала и молчком куда-то из дома. Я думаю, неужели сейчас к этому Вронскому пойдет унижаться, и за ней следом. Она на железнодорожный вокзал приехала. Идет по перрону, как будто наощупь, как слепая. Тут поезд едет, она остановилась. Ждет чего-то. Поезд проехал, следом еще один объявляют, она ждет чего-то, не уходит. Второй поезд едет, и она подходит к краю платформы, тут я не выдержала, хватаю за локоть и кричу - ложись на рельсы, ложись, чего ты ждешь, где твой красный мешочек, - и трясу ее, трясу, а она, как тряпка в моих руках, не сопротивляется. К нам люди подбежали, стали меня оттаскивать, я им объясняю - вот Анна Каренина, под поезд хотела лечь, дочь моя, я дочь спасаю, руки уберите.

А она плачет – мама, мама.

Я ей – доченька моя, пойдем домой.

И пошли…

(Вздыхает)

**Выходит Геннадий и говорит:**

Я учился в высшей школе МВД в Волгограде, это давно было. Ну, вас, наверное, и не было в живых. И знаете, вот приехал я туда, у меня нет ничего, ни трико, ничего. И тут бег, я помню, на 3 километра. А у меня ни трико, ни кед. И я скинул ботинки и побежал босиком. И я всех этих с кедами обогнал. Откуда у нас тогда кеды были, Господи. Вот если шаровары вот тут порвались, делали плавки. Выгодная вещь.

А мне мама дала с собой в дорогу десять яиц, бабушка – пять рублей, и я так явился туда с чёрной холщевой сумкой.

А когда в отпуск к маме приехал уже курсантом, в форме, она как меня увидела, это зимой было, вот так застыла – Господи, какой ты красивый, - и перекрестилась. Да…

**Женский голос со странным акцентом:** Дарья

**Мужской сердитый голос:** Денису приготовиться

**Выходит Дарья и говорит:**

В третий день свадьбы у нас еще у мордвов горшки колют. Мы нашли у матери старый глиняный горшок, они пришли – сын и невестка, я им вручила. Молодые колят, мы пляшем, а молодежь собирает, подметает. Собрали и оставили во дворе. А куда эти осколки деть, не знаю. Спросила у одной. Она говорит: заверни их в тряпочку и положи, где иконки стоят. Вот ведь, а я не знала таких тонкостей. Положила к Богородице под бочок. А сын с женой уж пятнадцатый год хорошо живут, мирно

**Выходит Денис и говорит:**

Мне было восемь лет, когда умер мой отец. Он очень много пил, бил мать. В тот день он был тоже пьян, поскользнулся на лестнице, разбил голову. Моя мать потом, когда отца в морг увезли, отмывала кровь в подъезде, и чтобы я все это не видел, отослала меня в магазин купить овощи. Аня играла во дворе, и почему-то я позвал её с собой. Она согласилась. Мы поначалу стеснялись друг друга, шли молча. Потом она спросила, читал ли я книжку «Всадник без головы». Я сказал — нет. И она стала рассказывать об этом всаднике, как его убили, и как он мертвый без головы, верхом на лошади, пугал всю округу. Потом предложила играть в догонялки. Мне не хотелось, но не хотелось её обижать. Я легко догнал её, Анька визжала от смеха: так нечестно, так нечестно. Потом она за мной. Я поддался, бежал в пол силы.

В овощном ларьке Аня изображала стоящих в очереди людей, я еле сдерживал смех, она громко хохотала. Нам сделали замечание. Тогда она засмеялась ещё громче. Кто-то сказал: «Такая девочка красивая, а какая невоспитанная».

По дороге домой она предложила мне убежать в какую-нибудь жаркую страну, обещала стать мне верным другом и женой, потом сказала: «Я понимаю, почему ты не плачешь. Тебе не должно быть стыдно, что тебе не жалко своего папу».

Потом я узнал, что Аня предлагала убежать в жаркую страну, стать женой и другом еще одному мальчику с нашего двора. Он согласился, раздобыл нож, верёвку, походную сумку, консервы, немного денег и котелок, чтобы варить походную уху, но она уже в тот момент передумала.

**Женский голос со странным акцентом:** Евгения

**Мужской сердитый голос:** Евгению приготовиться

**Выходит Евгения и говорит:**

Тридцатый год, значит. Я еще была маленькой, жили в Славянской. Вот видишь – сколько лет мне тогда было, а я еще это помню. Ой, тогда комедия была, отец с матерью переругались, так бы ничего не было, но приехала тетка Ольга, мамина сестра, ну она тогда еще не замужем была, у нас сначала пожила, рассказывала, как они на санях ездили с этими белогвардейцами, а потом перешла к соседке, Нестеровой. Ольга знала, что отец будет нас в Армавир забирать, а ей где, ей нельзя будет жить в нашей квартире, потому что это казенная квартира. Ну в общем, Нестерова её, наверное, подкрутила немножко, чего ты им будешь помогать, они тебя на улицу гонят.

Ну и мать видит, Ольга идет как-то по той стороне, ну там знаешь, улочка такая, там болото, мы даже купались в этом болоте, и кричит ей: ты приди, помоги мне вещи сложить.

А Ольга, ей, наверное, Нестерова хорошо надкусила, говорит: сама соберешь, я тебе не холуй. Мать, конечно, открыла рот от такого. Ну представляешь, если она столько времени жила, нашим всем кормилась, и мать ей давала на машинке шить, и вдруг вот такое вот. Ну, а тут тебе приехал отец собирать вещи и говорит: чего же ты, я же просил тебя снести все вещи, тогда же рогожа была, в эту рогожу закручивали, зашивали, специально так делалось, большие эти иголки были, ими зашивали. Отец говорит: ну Ольгу позови, что же она у нас жила все время, на наших харчах сидела, а тут вдруг не хочет ничего. Тут мать рассказала, что Ольга ей сказала. В общем, отец выругал мать, собрал сам какие-то вещи, а потом сказал: я через какое-то время вернусь, и чтобы все остальное было собрано в кучи. А что она могла там мать собрать, ничего, и когда отец вернулся, у них там получился базар.

А отец с мужиками приехали, и они все это завязывали, все сделали, и отец матери сказал: вот и оставайся, и живи теперь со своей Ольгой. А мы с сестрой Алькой за домом сидели, там у соседей бузина кругом росла. Я потом зашла к матери, посидела возле нее, она сидит зареванная, мать. А соседка матери, мы хорошо с ними жили, мы её так звали все мама Лиза, она такая вот толстая была, пила, заставляла нас ногти резать ей где-нибудь на лавке, мы там кто ножницами, но мы, сколько мне там было лет, а её внучке Мелиске было еще меньше, ну в общем, пока она в себя придет, у нее ни ногтей нет, и все в крови. Такая баба была, пила, и никто не обращал внимание. Эта Лиза видит, что тут такой кармагал, хвастает нас с Алькой, своих внучек и в церковь нас повела. И вот я тогда видела в первый раз церковь, ой какая же красивая церковь, а в середине правда народа было мало, но до чего там в середине была вся красота. Мы побыли в этой церкве, нас священник причастил мама Лиза удержала время, пока родители соединятся и ругаться уж не будут. Ну, в общем, когда мы вернулись, поздновато уже было, смотрим мать сидит на лавочке, отец. Нас собрали в кучку, и отец говорит: ну теперь поехали.

А из Славянской в Армавир пароход ходил, и вот я хорошо помню, как мы на пароходе, на самой верхушке лазили. Ой, я помню, говорю: мама мне писать хочется. Пошла я в туалет, а там, поскольку пароход плывет, и как идет волна, видно в самом туалете. Меня мать за руку держала. Доехали на пароходе до станции, а оттуда сели в поезд. Света нет там, только ходит проводник со свечой. А у нас еще и куры были с собой. У нас, штуки четыре курицы, наверное, были. Ой, видно курица была слабо завязанная, она выбралась из мешка и шастала по вагону, ну идет проводник и говорит: Чья это курица? Мать нас с Алькой схватила, оштрафуют, курица того не стоит, сколько штраф, особенно мне рот закрыла, а я плачу, курицу жалко.

В общем, приехали мы в Армавир, квартиру нам дали. Мы на втором этаже, внизу главбух Аксентов. Багаж не пришел, а у нас ничего не было, какие-то тряпки Аксентов нам дал. А потом мы все когортом заболели малярией, обмороком лежим. Помню старушка пришла, соседка, принесла нам молоко. Ну и поднялись, сначала отец, потом мать, ну и мы с Алькой. А тут багаж пришел. Ну и устроились мы тогда уже по-хорошему.

А потом прошло какое-то время, я помню, мы мотались по двору, во дворе всегда взрослые в футбол играли, мужчины там, мужья с женами, ну целая компания, и я вижу, как во двор заходит Ольга с девчонкой со своей, у нее девочка уже родилась. Ну это же совесть надо иметь, ты ж там матери кричала через дорогу, а тут тебе. Мать вышла, Ольга в слезы: Лена, родненькая, сестричка помоги, вот. В общем, они там с мужем передрались, она в чем стояла, эту девчонку схватила и на пароход, куда ей еще деться. А мама ей говорит: а че ж ты к Нестеровой не пошла, что ж ты ко мне пошла. Ольга у нас прожила какое-то время, а потом куда-то уехала и не знаю куда, что ли в Харьков, в общем, её не стало здесь.

Отец как-то пришел рано домой, принес муки полмешка, ведро риса, правда не чищенного, соль, еще кое-что, барахло какое-то и говорит – ну все, меня забирают на войну.

Мать говорит – так тебе же еще, когда мы в Ирклиевке жили, белый билет выдали. В общем, мать так и не узнала, что отец добровольцем пошел.

А, когда отец уже на фронте был, мужик пришел один, говорит, мне вашу квартиру отдают. Мама говорит: эту квартиру муж покупал, он, во всяком случае, на фронте, надо же к нам какое-то снисхождение. А отец, когда уходил, сказал, не вздумайте уходить, если вас будут выселять. А у нас еще печка плохо топилась, летом мы еще вертелись-крутились, а осенью совсем беда. Мужик этот посмотрел, что печка плохо печет, и говорит – живите, как хотите. Мать потом нашла где-то печника, и он сделал за печкой ящичек такой, ну как все равно закоулочек, я там спала, ну а что – тепло.

Краснодар уже бомбили. И мы с матерью выкопали зигзагом окопы, перину туда положили, чтобы от бомб прятаться.

А однажды смотрим – батюшки, кто идет… немцы идут! С больницы тогда всех больных выгнали, даже тех, кто не мог ходить, боялись, что немцы за ними придут. Всех их где-то разложили, где у кого подвал, спрятали.

К утру, ну даже не к утру, а к пол обеда, первого я увидела, в каске, грязный такой весь, морда грязная, с палкой что-то лазил в кустах. Спрашивает – солдат есть? А перед этим были солдаты наши, - ой, у меня аж мороз по коже, - просили, если у кого есть хоть кусочек хлеба. В общем, у нас там немножко было, хлеба как такового нет, отдали пшеницы немножко, поблагодарили они нас, и поехали на лошади с этой телегой.

А бабка одна, у нее сын проводник вагона, она была проводницей, и внучек у них такой. Она вперед будто бы и ругала этих немцев, а тут как увидела, и язык в жопу затянуло. У нее сад, кто-то из наших солдат приходил к ней попросить яблок, она – нельзя! А тут смотрю – складывает в мешочек этому немцу яблоки, груши. Я матери потом говорю – своим солдатам – вот, а немцу уже не откажешь. И кто бы знал, у нее потом почти все яблоки морозом посбивало.

А на другой день приехали два мотоцикла немецких и машина. Все будто бы немцы по-человечески были. - Ну, мамка говорят, показывают руками, что надо постирать. Сбрасывают одежду, бросают по кусочку мыла ей, у кого круглое, у кого какое.

А до речки Карасун двадцать метров пройти, чтобы воду набрать. А страшно идти, немцы везде. Знаете, как боялись уже лишний раз из дому выйти. Мать воду принесла, одежду замочила, ждет, вдруг еще кто принесет, чтобы воду не выливать. И подошел, вроде как помощник офицера, показал, что все, больше нету тряпок никаких. И тут вдруг подошел, молодой, лет девятнадцать, паразит такой был, противный, у него маленький автомобильчик какой-то был, и приносит целый ворох белья. Мать ему говорит – ну надо же было сразу дать, а он хохочет, сложил такую кучу. Мать говорит мне, где ж теперь воду брать. Он начал на мать орать. Подошел офицер, старший ихний, он хорошо по-русски говорил. Мать ему рассказывает – он как назло мне делает, говорю же ему, пока стоит эта вода, я в ней один раз постираю, потом буду уже в другой стирать. В общем, мать ему хорошо это все рассказала. И он как начал на него орать. Тот вытянулся, как стрела. И говорит – чтобы воды принес. Правда, мать сказала, сама принесу воды. Мыло достал где-то из заначки. Ну, принесла я еще два ведра воды, залили все это. А белье у них все замасленное было, как еще в керосине, или еще в чем-то.

Мама говорит – утюга нету, гладить нечем. Офицер говорит – ничего, лишь бы чистое было, а это необязательно.

И уже когда всем постирали, этот офицер отдельно дал рубашку белую. А у наших тогда такие рубашки были, елочкой такой меленько-меленько было, обыкновенные мужские рубашки, а это чистая, белая.

Ну все равно, Витку дразнил беспрерывно. У нас яблоня, ветка такая большая, а на ней привязаны качели. Витке было, сколько ей, три года. Качалась на качелях, один офицер согнал ее, сам сел. Мать хотела выскочить, я говорю – мам, пусть покачается на качелях, Витка пусть поплачет-посидит, потом опять будет качаться.

Потом не самый главный, но какой-то начальник подзаметил, и дал ему стрекача, офицеру сказал, его хорошенечко облаяли, он ходил, как собака злая. Потом маме рассказывал, что у него в Новороссийске барышня, и у них любовь.

В общем, эти уехали, и приехали другие: сапожник, шорник, и портной. И вот они жили в той комнате, где раньше была контора отцова. Мы тогда оттуда успели сняли портрет Ворошилова. Я помню, еще до приезда этих, мы уж знали, что новые немцы придут, я маме сказала – мама, там же портреты висят, ну там Ворошилов, еще кто-то, полно.

Давай мы скорей все это обдирать. Мы, когда портреты сняли, все залепили своими фотокарточками, какие были. Сапожник все заглядывал, спрашивал – кто это, а это кто? Хорошо, хорошо, говорит. А нам что, лишь бы не трогал.

Эти тоже долго не побыли, потом пришел парень, молодой такой мальчик. А у него альбомы, да и не один. И начал нам показывать своих всех родственников. Одна фотокарточка такая: висит большой портрет Гитлера, а внизу под ним уже братья, сестры, все снохи… И он показывает, что всех их собрали, сфотографировали, и братья все на фронт ушли. Смотрели эти фотокарточки, а некоторые были такие – просто сфотографировано, горы Кавказские, все в снегу, и кресты. И он нам показал – вот, погибли все. Мы говорим – а как, теперь увозить их в Германию будете? А куда там увозить, когда наши уже на подходе.

Потом пришел еще один, у него такая гильза была большая, сверху сплюснутая, и фитиль горел. Нам с мамой хорошо – можно читать. Он так и говорил – мама, читай, а я пошел, говорит, к барышне. Я все думала, и мать говорит мне тоже – какая ж это барышня. Потом узнали, какая это барышня, через два двора от нас.

Потом другой пришел, сапожник. Мама с Виткой спали на кровати, а я за печкой, на ящике. Мама ему говорит – ложитесь здесь, а он – нет-нет, я солдат, я на полу буду спать. Мама утром мне говорит – неприятно спать, когда он лежит внизу возле кровати.

А один пришел, и вот так уронил голову на руки, стал плакать. И потом другой офицер сказал про него, машину ему свою пришлось ему поджечь. А там была площадь, они там машины собирали, я как пошла, батюшки, там машин двадцать. И они их там жгли, чтобы нашим не досталось.

Ну а потом, тишина, уехали будто, никого нет, тихо, нигде ничего. Карасун уже подмерзший был. Днем мы с соседской девчонкой, она младше меня была, помчались, на санках покататься. Ну, тишина кругом. А вечером, я за печкой на лежанке греюсь. слышу, стучат в дверь. Мама вышла, стоит соседка, говорит: наши… наши хлопцы пришли!

Когда немцы отступали, мы говорили – слава тебе господи, хоть уходят. А это – свои. Помчались скорее на наших солдат смотреть. Ой, тут побросали все, даже двери свои не закрыли, как говорится, кому оно нужно.

 **Евгений выходит и ничего не говорит.**

**Мужской сердитый голос:** Говорите!

**Евгений:** Что?

**Мужской сердитый голос:** Это вы должны знать.

**Евгений:** А я не знаю.

**Мужской сердитый голос:** Ставлю прочерк. Следующий.

**Женский голос со странным акцентом:** Жанна

**Мужской сердитый голос:** Есть ли здесь мужские имена, начинающиеся на буквы «Ж»?

**Мужские голоса хором:** Нет.

**Мужской сердитый голос:** Прочерк

**Жанна выходит и говорит:**

Сколько дней осталось в памяти разрубленными на двое, как тело саблей. Одна половина гниет в темном скользком от дождя ноябрьском лесу, а другая греется на солнечной поляне и улыбается мертвым ртом.

И больно смотреть и в ту, и в другую сторону.

**Женский голос со странным акцентом:** Зина

**Мужской сердитый голос:** Захару приготовиться

**Зина выходит и говорит:**

Мне приснился сон. На улице зима, а я пришла к портнихе заказать платье на будущее лето, загодя. Во сне я еще беременная была, вот с таким животом. Портниха мне говорит – закажите платье летом, сейчас я и мерки снять не могу, и за это время все может произойти, вдруг вы умрете. Я ей говорю – платье сейчас нужно сшить, так я смогу закрепиться в будущем. В общем, сшила она мне красивое голубое платье. А когда я умирала в госпитале, как раз летом, снится мне опять эта женщина, спрашивает меня: что же ты платье сшила и не носишь? И даёт мне то платье, голубое. У меня сил нет, но я кое как старую одежду сняла и платье новое надела. Стою перед ней худая, страшная, и платье, хоть мне велико, но такое красивое-красивое. Я заплакала, такое красивое платье, как же умру, не поносив.

Так через платье и не умерла, закрепилась.

**Захар выходит и говорит:**

Вы чего лежите-то опять? Пора умываться да писать. И когда это он успел опять лечь-то! Илья Ильич. Как же нам быть-то, Илья Ильич? Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами! Ах ты, господи! Виноват, Илья Ильич! Чтоб тебе издохнуть, леший этакой! Мастер жалкие-то слова говорить, так по сердцу точно ножом и режет... Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну! Жалованье! Как не приберешь гривен да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и куму нечем попотчевать! Чтоб тебе пусто было!.. Подумаешь, смерть-то нейдет.

**Женский голос со странным акцентом:** Инна

**Мужской сердитый голос:** Ивану приготовиться

**Инна выходит и говорит:**

Он умер в гостиничном номере, один, а больше я ничего не знаю.

На похоронах я не была, и все мне кажется, что я не успела с ним поговорить, хотя были встречи, было много встреч, и в Шанхае, и в Москве.

Он мне приснился неделю назад, сидел один, как всегда, нога на ногу, в тёмном зале, и вокруг него ходили кошки. Он курил, сгорбленный усталый, и кошки терлись по очереди о его ноги. Он гладил каждую и называл по имени: Ренессанс, Ретурнак. Так звали этих кошек.

А вчера я встретила Наташу, и она мне рассказала, как приезжала к тебе во Францию, что ты живешь на маленькой станции Ретурнак, и что с французского Ретурнак означает «возращение».

А еще она рассказала, что ты все ещё водишь машину, и так же красива, но жалуешься на зрение, бросила верховую езду. У тебя красивый дом. В нём много кошек. Я всегда говорила, что вы чем-то похожи.

**Иван выходит и говорит:**

Я позвонил ей: «Доченька, доченька, лежу в третьей, в хирургическом отделении, ни пижамы, ни тапочек... Матери твоей звонить не хочу. А Райка, стерва, тварь, убить меня хотела, завладеть квартирой. Приди, милая, навести старика».

Я человек одинокий, разве вы, сытые и благополучные, можете понять, как в моем возрасте не иметь ни капли утешения, ни крова над головой… Заслужил, скажете вы, как всегда говорите, человеческой беды не разделяя, плеча не подставляя.

К соседу моему, грыжу ему вырезали, приходят и в утренние часы, и после ужина, ужина ему мало, и жена, и два сына, и носят, носят: сало домашнее, сметану двадцатипроцентную, колбасу, а вчера красную икру принесли, а я лежу, слюной утираюсь, чай больничный жидкий хлебаю, и меню у меня диетическое, потому что язва.

Он мне говорит: «Ты, Ваня, угощайся». По имени меня зовет. Разве у такого пропащего человека, у которого белье больничное, со штампом, может быть отчество. Ваня. А я, между прочим, учителем русского языка два года в школе отработал и женат первым браком на учительнице, Ольге Петровне. Влюбилась она в меня. Вы лицо то не кривите. Что, и полюбить, думаете, меня нельзя. Нет, лицом я не крив, и немного смазлив, не только Ольга Петровна прельстилась, но и учительница химии, а за ней и младших классов.

Я Ольгу Петровну сразу же прогнал, как про дочку узнал. Мне дети ни к чему. Разве может человек бедный детей иметь. Сами посудите. Это только вы плодитесь и размножаетесь. Ну, когда Иришка родилась, я уже там у одной кассирши жил. Учительница с матерью её денег у меня вымогали немножко, но я и без угроз свой отеческий долг исполнял. Один раз куклу купил на семилетие, хорошую куклу, немецкую. А мать её, учительница, неблагодарная, мне потом выговаривала: «Когда Иришка с пневмонией лежала, тебе медсестра позвонила, придите, навестите дочь, ты что не пришел?»

А как я приду, я тогда расписался с одной работницей склада, и у меня медовый месяц. Как я могу супругу молодую оставить в такой период?

А сосед мой с грыжей, ему диета прописана, а он все наесться не может, говорит мне: «Так че, Ваня, ноешь. Дочку бросил, жену бросил».

Ох, тошно мне, тошно! А я, может быть, как Райка на меня с ножом набросилась, ни одного дня не прожил, чтобы Олюшку и Иришку не вспомнить. Да, разве можете вы… Вы же люди. А я кто?

А когда Иришка пришла, я не узнал её, располнела, вся в мать, я вдруг неладное почувствовал. Она так смотрела на меня, из-за очков, как будто я последнее ничтожество какое, пропащий человек. Она на стол выкладывает: сырники, борщ в банке, кефир, простоквашу, печенье, пряники. Костюм мне купила спортивный. Настоящий хлопок. Я смотрю на неё, и у меня самого чего-то дрожит. Не пойму, что. И сосед этот, морковь грызет и смотрит так с умилением. Тут не выдержал я чего-то, не выдержал.

Говорю, думаешь ты, Ириша, что отец твой бомж последний, что сырников ему некому принести, пришла тут. Я все про тебя знаю, на квартиру мою с матерью твоей позарились? Думаешь, сырниками купить меня можно? А вот фиг вам. Уходи, неблагодарная.

А она все выкладывает, выкладывает, руки вот так дрожат. Выложила всё и ушла. Я кричу ей вслед: «Не надо мне ничего, ничего, забирай обратно, неблагодарная».

А душа у меня ходуном, ходуном ходит.

Да зачем я вам это все рассказываю? Жил один и один помру, без людского сочувствия. Не надо мне вашей жалости. Подавитесь ею. Подавитесь.

**Женский голос со странным акцентом:** Клавдия

**Мужской сердитый голос:** Константину приготовиться

**Клавдия выходит и говорит:**

Прости, что только сейчас отвечаю на два твоих письма почти десятилетней давности — в первом письме ты писала, как скучаешь по Косте. Во втором письме просишь прислать его фотокарточку. Так странно, мне казалось, что ты забудешь его навсегда. Ты пишешь, что не помнишь его лица, вернее, помнишь смутно, и его самого ощущаешь скорее младшим братом, чем возлюбленным. Прилагаю к своему письму две его карточки. Не смогу смотреть на него. Сижу и плачу. Столько лет прошло. Ты прости, что высылаю только сейчас, может быть, ты уже по этому адресу и не проживаешь. А как я прочитала, что ты просишь выслать его карточки, всю посуду дома перебила. Ты уж прости. Я думаю, с тобой бы он совсем спился, он и со мной много пил. А Вася у тебя хороший. И какую вы с ним жизнь хорошую живете.

Я тебя ни в чем не виню. Он упал с балкона, только потому, что пьяный был и дурак, а не потому, что ты его тогда выгнала. Лежал в гробу на себя непохожий, голова плоская, как блин, весь в цветах. Как я эту голову целовала.

А как мы с ним хорошо до тебя жили. Как станет скучно, я его прошу, - давай споём. И пели. Как хорошо мы пели, Вероника…

**Константин выходит и говорит:**

На вечную память жене Клавдии от Константина. Январь, 57

**Женский голос со странным акцентом:** Лидия

**Мужской сердитый голос:** Леониду приготовиться

**Лидия выходит и говорит:**

На одной из своих работ мне привелось работать с одной женщиной. Даже, разговаривая с ней по телефону, чувствовала, какая внутри у нее огромная боль. Не знаю, как, но я это чувствовала. Хотелось помочь ей, спросить, в чем дело, просто поговорить об этом. Позднее я узнала от коллег, что двое ее детей и муж погибли в Беслане. Муж пошел провожать детей на первое сентября, а она осталась дома. Меня это как громом поразило.

Её через какое-то время перевели в Московский офис, чтобы помочь пережить это горе. Когда проходила мимо памятника детям Беслана на Китай-городе, всегда вспоминала ее.

**Леонид выходит и говорит:**

Позвонила жена и попросила срочно приехать домой. Я сначала разозлился, потому что сто раз просил — не звонить мне в рабочее время, я то у шефа, то на совещании, то срочно нужно прогнозный план по предприятию составить, и я не могу с ней разговаривать в такие моменты, и вообще, шеф всегда рядом, и он тоже раздражается, когда мне по разным пустякам звонят. Однажды они с дочерью водного жука потеряли, мы его с озера привезли, и этот жук утром сбежал из детского ведерка, куда они его поместили на ночь. Психовал тогда жутко, говорю ей — тебе что некому позвонить больше, позвони Ольге, это её подруга, матери своей, в конце концов, я тут кручусь, шеф не доволен, ничего не успеваем, я ещё про вашего жука думать должен. А тут она мне мало того, что звонит, ещё и просит приехать. Я еду домой злой на неё ужасно. Думаю, я бы в эти два часа и таблицы бы составил и отчёт, и успели бы шефа к совещанию подготовить. Приезжаю, открывает мне дверь и говорит: Пьер умер. А Пьер, это собака наша, эрдельтерьер. Я её подарил жене после выкидыша, она тогда жутко плакала, и мы детей после этого вообще не хотели иметь, но она через два месяца снова забеременела, и вот Машка у нас родилась. Собака хорошая, но с бабьим характером, и имя такое глупое, но она тогда все время плакала, и я не мог ей сказать, что Пьер — ужасная кличка.

Да…захожу я в комнату, и на коврике под столом мёртвый Пьер, и моя дочь, трёхлетняя Маша, лежит рядом с ним, и обнимает его, гладит по шерсти

- Она так уже два часа лежит, — говорит жена.

И смотрит на меня снизу-вверх. Я растерялся, не знаю, что делать. Понимаете, я всегда думал, что у них всё хорошо. Я же для них всё делаю, чтобы у неё и у Машки всё было. Я устаю жутко. Я прихожу и засыпаю тут же, а во сне все эти отчёты, дела, там сделал, не сделал, постоянно в голове мысли о работе, сам не рад. А в воскресенье просыпаюсь поздно, и слышу, как она Маше говорит: не заходи в комнату, папу разбудишь, а она отвечает: папа уже не спит. И у них около двери лёгкая борьба, и в итоге, жена Машку с рёвом на кухню уносит. А я устаю, и я не всегда говорю: «Маша, папа не спит». Я жду, когда же она чем-то её отвлечёт, не могу физически проснуться. Жена не работает, у нас и няня есть, и женщина одна приходит убираться, готовить. Времени у них много — гулять там, куда-то ходить, и я не замечал, чтобы ей или Маше было когда-нибудь плохо.

- Маша, — говорю я ей, — хочешь, я с тобой тоже под столом полежу?

Она даже не обернулась, не посмотрела на меня.

- Маша, а что ты хочешь?

Снова молчит.

Я тогда залез под стол, еле поместился, хорошо стол большой, обеденный, двенадцать человек свободно умещаются, обнял Машу, а она такая маленькая, руки и нос измазаны фломастерами, и лежим так. Она ко мне не поворачивается, я слышу только её дыхание, шумное, как у детей бывает. Я тогда в первый раз понял, что вот у неё, у этой маленькой девочки, есть в голове свои мысли. Она думает про свою собаку, которая больше не лает, не виляет хвостом, не лижет ей руку и не понимает, почему так произошло.

Я ей говорю:

- Маша, ты меня прости, что я тебе ничего объяснить не могу, понимаешь, взрослые — в общем-то, такие же дети. Я не могу найти никаких слов утешения не то, чтобы для тебя, но и для себя тоже. Мне тоже сейчас больно. Давай друг другу поможем, ты сейчас повернёшься ко мне и обнимешь меня, а я тебя.

Она лежит, не поворачивается, я тогда её сильнее к себе прижал, но осторожно, чтобы ей больно не сделать.

- Папа, а я думала, ты не поместишься, — вдруг она мне говорит.

Минут через двадцать, она просто, без слов, недовольно убрала мою руку со своего круглого бочка и быстро выползла из-под стола на четвереньках. Жена схватила её на руки и понесла в комнату, и оттуда я слышал их общий плач.

Поздним вечером мы закопали Пьера в саду. Жена повторяла — почему он умер, надо было сделать вскрытие. Ведь собакам делают? Почему не сделали? Почему он умер? Я не справляюсь. Я плохая. У меня ничего не получается в жизни. Почему он умер?

Ночью я никак не мог заснуть. Лежал и думал — завтра опять работа, доклад не подготовил, снова шеф будет звонить в семь утра, то он телефон забыл, то ключ, а с ними в этой квартире всё, что угодно может случиться, и я работать нормально не смогу, и Маша меня не обняла, и ничем я ей не помог, и, может быть, она вырастет вот с этим чувством, что её никто не понимает, с которым она обнимала мёртвую собаку. И я думаю, нужно как-то по-другому начинать жизнь, это какая-то неправильная модель жизни, не работает она, ещё думал о том, как люблю их, жену и Машку, и сердце сжималось.

А на следующий день, к обеду, конечно, всё опять завертелось, завертелось, одно поручение, другое, ничего не успеваю, в общем, так и не получилось начать новую жизнь.

**Женский голос со странным акцентом:** Мария

**Мужской сердитый голос:** Максиму приготовиться

**Мария выходит и говорит:**

Мой возраст исчисляется теми, кого уже нет со мной. Вот уже лет десять, как нет Саши, и значит, никто на свете больше не знает, что я была молодой. Нет моей мамы, нет моего папы, они ушли, а с ними и мое детство, да и от самого детства остались только фотографии. А кому они нужны?

 Когда я рассказываю, как родилась, как мама с папой несли меня крестить в церковь, и была такая пурга, что они друг друга в ней потеряли, на меня смотрят с удивлением, словно я говорю о чем-то неприличном. Родилась, это слово уже неприменимо ко мне. Умрет, вот оно слово, определяющее меня.

Осенью не так тяжело, как ранней весной. Каждую весну я встречаю, как последнюю, со странным чувством страха и облегчения, вот должно закончиться мое тяжкое существование, состоящее из воспоминаний о прошлом, болезней и бессмысленных тревог, но одновременно с этим закончится и моя жизнь; закончится эта весна, и никогда больше не начнется.

Куда оно ушло это время? Когда? Когда успела вырасти моя дочка, родить своего ребенка? Когда успел вырасти этот ребенок и родить своего, если для меня ничего не изменилось?

Часто я вспоминаю сад в доме Сашиной матери, и Саша, и его мама еще живы и молоды. Недавно я нашла в альбоме фотографию, она черно-белая, других тогда не делали, а я помню все цветным - и сад летний, с яблочными деревьями и отцветшими вишневыми. За кадром Саша, в брюках и рубашке, не застегнутой на вороте. Волосы его не стрижены, отросли, кудрявятся. Что-то мы делали в саду, потом Саша топил баню, мылись все по очереди, сначала Надежда Ивановна, потом старая бабушка Ольга Константиновна, потом Сашин брат с женой, потом мы. Баня уже остывала, на улице вечерело, в саду появлялись комары. Саша наливал воду в деревянный тазик, я тяжело садилась на лавку, и он мягкой мочалкой осторожно водил по моему животу. Мне было тяжело мыться самой, живот мешал, я казалась себя раздутой, большой, а внутри меня драгоценный шар. Я не парилась, только Саша. Помню его, как он – красный, обклеенный березовыми листьями, долго лил на себя из ковша ледяную воду. Потом мы шли через сад, уже совсем потонувший в ночи, и каждый шорох отогнутой ветки дерева, звук наших шагов наполнял меня детским страхом, и я крепче сжимала Сашину руку. Потом пили чай в большой комнате, тикали часы, Саша рассказывал брату о каких-то делах, уже и не помню, о чем, потом Надежда Ивановна с Женей собирали посуду, просили меня не беспокоиться, когда я предлагала им свою помощь. Потом мы ложились спать в сенях, и Саша, по установившейся привычке, ложился на самый край, боялся случайно задеть во сне мой живот. Мы знали, что первая родится девочка. Я хотела назвать её Ольгой, а Саша – Надей.

Мне не хочется уже читать книги, потому что они все об уже ушедшей жизни, уже не про меня.

От детства в памяти остались некоторые запахи. Еще помню некоторые вещи, как будто, на ощупь. Старая скатерть на комоде, слипшиеся церковные свечи в последнем ящике комода, образ в углу комнаты в дешевой серебряной ризе, под стеклянной рамой искусственные розовые цветы. Помню запах от маминого платка, ее быструю походку, как она быстрым движением рук завязывала волосы в узел. Дом, в котором мы жили, был маленький, темный как подвал, одна комната с большой печью, печь закрывала ситцевая занавеска. Нет ни платья, ни обуви. В школу я ходила в старом тулупе и мужских кирзовых сапогах. Мать весь день работала в колхозе. Приходила поздно ночью. Жили мы только с ней и бабушкой. Отец перебрался в соседнее село. Иногда он приходил ко мне, приносил конфеты-подушечки, спрашивал меня - ну как живете, как мать. Я боялась матери, и хотела, чтобы он ушел до ее возвращения. Иногда мать приходила раньше, и они встречались. Отец боялся её, смотрел на нее заискивающе и спрашивал, как незнакомую — ну, как Раиса живешь?

Мама была суровая на любовь. Жизнь она воспринимала тяжело, и жила как бы себе в наказание.

Потом началась война. Отца забрали на фронт, и он вернулся один из пятнадцати мужиков нашего села, хотя никто его не ждал. Мать отца прогнала из дома. Её обступили женщины кружком, оскорбляли, лезли драться, а я стояла и ревела, потом пришел председатель, женщины разбежались, мы с мамой пошли домой.

Вот так кончилась война.

Отец потом еще раз женился. Куда-то они уехали с новой женой. Я даже не знаю, где он похоронен.

Во сне я вижу какое-то голое место, а потом появляются люди, сначала немые и неподвижные, как на фотографиях. Я не могу заставить их ожить, но постепенно наполняется теплыми красками папино лицо, и он не своим голосом произносит первое слово, и еще какие-то слова, и так обретает свой собственный голос, а за ним начинают говорить и мама, и бабушка, перебивая друг друга, радуясь, что вот они наконец-то, как в сказке о спящей красавице, проснулись через века, а их окружает все то же родное, и завтрак на столе еще не остыл, и вода из колодца так же холодна, и они зовут меня скорее к себе. Все в моем сне снова молоды, счастливы, и Саша там же, я говорю ему – ты не можешь здесь быть, ты никогда не знал моего детства, он не успевает ответить мне, потому что я просыпаюсь.

Саша мне часто снится молодым, и я чувствую несоответствие между его возрастом и моим. Во сне мы ходили в гости к его друзьям, я их никогда не видела в жизни. И мне кажется, что одна девушка нравилась Саше. Я мучилась ревностью, они были молодые, а я старая. Я звала Сашу домой, он не хотел уходить, потом всё же мы оставались наедине. И тогда я вдруг понимала, что он мертвый, а я живая.

После наших ссор Саша иногда плакал в темноте, я дотрагивалась до его лица, чтобы понять — плачет он или нет. Это было в молодости, когда Ольга еще не родилась. Но теплую влагу его слез на своих пальцах я вспоминаю всегда чувством вины и горечи.

Мы сроднились с ним даже в движениях. Часто я чувствовала на своих губах его улыбку. Я словно видела его со стороны и была им одновременно. Это были отпечатки его души, оставленные долгой совместной жизнью.

**Максим выходит и говорит:**

Как-то зимой я поскользнулся на улице и сломал бедренную кость. Лежал на льду где-то минут двадцать. По дороге проезжали машины, гудели. Шли люди, кто-то вызвал скорую. Месяц потом пролежал в больнице. Приходила Наташа, приносила котлеты в стеклянной банке. Я сказал ей тогда, что люблю её. Летом мы расстались. Потом был долгий промежуток, который я не хочу вспоминать. Потом женился. Родился дочка Ксюша. Недавно перебирал документы, и нашел среди старых квитанций тот больничный снимок – белая переломленная кость бедра, а вокруг нее черная бездна. Ночью, когда все спали, я сидел и смотрел в эту бездну, и видел, как сломанная кость срасталась, превращаясь в скелет, за тонким стеблем которого качался отсеченный бутон сердца. И я смотрел в эту пропасть, пока не наступило утро, пока Ксюша не позвала меня из комнаты: «Папа, я проснулась».

**Женский голос со странным акцентом:** Наталья

**Мужской сердитый голос:** Никите приготовиться

**Наталья выходит и говорит:**

Ты знаешь, мне сегодня приснился такой странный сон – словно я иду одна по лесу, и неожиданно тропа обрывается. Я растерялась, не знаю, куда мне идти. Вижу, что из-за деревьев появляются быки - красно-коричневые с изогнутыми рогами. Я спускаюсь вниз по склону и вижу, что это не обрыв, а еще одна дорога, по обе стороны деревья, под ногами желтый песок. Быки сначала медленно шли за мной, а потом побежали рогами в спину. Тут из леса появилась маленькая старушка и молодой парень с пустыми незрячими глазами. Он что-то тихо сказал и быки остановились, и пошли к нему, покорные, как провинившиеся псы. Старушка позвала меня. Парень сказал – твой отец умрет в мае, но не от той болезни, про которую вы думаете.

- А я? Что будет со мной?

Парень ответил:

- С тобой будет все хорошо, но твое сердце никогда не найдет покоя.

И я проснулась.

А мой отец умер через восемь лет в августе.

**Никита выходит и говорит:**

Какой-то город, мы с женой вместе в отпуске, но почему-то ждём совещания в аэропорту, с нами куча помощников Дрыгина. Потом узнали, что совещание начнется через два часа, и ушли смотреть город. Кто-то из помощников сказал нам язвительно вслед: «Понятно, времени мало, хочется все увидеть».

Сели где-то в кафе. Непонятно, какая страна. Похоже на Германию. А иногда - на Россию.

Потом куда-то то пошли, жена убежала вперёд, а я иду за ней, почему-то в военной форме. Меня останавливает офицер, он русский. Делает замечание, что я не по уставу с ним поздоровался, туфли грязные, фуражку при встрече с ним не снял. «– Вообще-то вам нужно строгий выговор с занесением в личное дело», - говорит. У меня все холодеет внутри. Долго на меня смотрел и отпустил. «Только туфли почистите немедленно».

Я захожу сразу в какое-то уличное кафе, беру из стопки салфеток белых, чищу туфли. Неожиданно за стойкой бара появляется немолодой мужчина, я испуганно становлюсь по стойке смирно, представляюсь - лейтенант Николаев. Он поворачивается ко мне спиной, и кому-то стоящему за шкафом с бутылками шепчет про меня – это такой-то. И мне кажется при этом, что он мою фамилию перевирает. Выходит из подсобки женщина, его жена, выносит кастрюли с едой, накладывает мне в тарелку очень щедро салат, потом выносит какое-то второе блюдо, типа мяса с овощами тушёного. И пытается со мной на иностранном языке разговаривать. Я ем, очень вкусно. Говорю сначала на ломаном немецком – «Данке шён», потом перехожу на ломаный английский, пытаюсь хвалить еду.

И тут неожиданно она на чистом русском своему мужу говорит про меня: «Пусть поест, небось нелегко там ему в своей Югославии». Что-то в них обоих при этом неприятное, заискивающее. И тут я понимаю неожиданно, что я в Восточной Германии, и я солдат.

В этот момент ко мне подошёл из дальнего угла мужчина в темно-сером пальто. У него меняется лицо, то он похож на моего деда, то на Эльдара Рязанова. Он близко-близко придвигается ко мне вплотную и говорит на ухо – «Я бы на твоём месте не говорил им пока, что ты русский». Щекой чувствую его щетину, это дедова щетина, и его часы на руке.

И тут я начинаю плакать. Я говорю – «Да что ж такое!», вспоминаю, что и Рязанов умер недавно, обнимаю его, такого большого, очень тёплого и близкого мне во сне, и плачу просто навзрыд. Кладу голову на руки на коленях, слезы текут между ног, и у меня проносится мысль: «вот и ясно теперь, что я русский». Хозяева недоуменно смотрят на меня, и тут я просыпаюсь от будильника, весь в слезах.

**Женский голос со странным акцентом:** Ольга

**Мужской сердитый голос:** Олегу приготовиться

**Ольга выходит и говорит:**

Мы решили посидеть после работы где-нибудь, кто-то хотел суши, кто-то пасту, и чтобы всё не очень дорого. Сели, разговаривать не о чем, есть скорее хочется. Официант никак не мог разобраться с нашими заказами, кому белое вино, кому красное, кому вообще чай. Аня, кажется, заказала только кофе. Ну вот, мы сидим, разговор не клеится, ждём свои заказы. Принесли вино, Дима долго нюхал пробку, потом дегустировал, всё по правилам, салфетку к бокалу подносил, нос буквально в него всунул, потом сделал глоток, — плохое вино говорит, и оно у них хранится в тепле, в баре, пусть охладят до подвальной температуры, шестнадцати — восемнадцати градусов. Принесли другое вино, снова нюхает пробку, снова, то же самое.

- Надоел уже, дегустатор, — говорит его девушка Оксана, берём что есть, всё равно дороже мы себе не можем позволить.

Разлили вино, каждый ест то, что заказал, Аня пьёт свой кофе, все погрузились в гастрономические наслаждения, за столом молчание, только звуки палочек, ножа, разрезающего мясо, вина, наливаемого в бокалы, и вдруг Аня говорит:

- Я бы хотела поговорить о чем-нибудь другом.

И когда она это произнесла, я поняла, что она сама удивилась, что это сказала вслух. У нее было такое удивленное и испуганное выражение лица, которое я никогда у нее не видела.

Но Дима, он молодец, его за это свойство, за то, что он всегда умеет сгладить ситуацию, приглашают во все компании, сказал:

- Да, давайте действительно поговорим на другую тему, а то мы всё о еде и о еде.

**Олег выходит и говорит:**

Иногда снилось, что мы по-прежнему муж и жена, но живем тайно от всех, в чужой квартире, не зажигая свет, как преступники, и мне снова, чего уже не было прежде, было хорошо с ней. Иногда это был гостиничный номер, и она проходила босиком мимо спящего администратора. Мы спали на расстеленном на полу одеяле, я гладил ее тело, она почему-то была в корсете, и не разрешала его развязывать. А вчера мне приснилось, что мы венчались в какой-то церкви. Она была совсем молоденькая, какой увидел как-то на фотографиях в альбоме ее подруги и не узнал. На фотографиях она была обычной, а во сне красивой, как будто она и не она одновременно. В церкви лежали старые паласы, и все гости сняли обувь, и она тоже, но во сне была не маленькая, а почти вровень со мной. Мы ждали священника, он задерживался. Тогда она предложила – давайте водить хоровод. Я взял ее руку, она – мою, и все гости взялись за руки. Я смеялся, как в детстве, и даже проснулся от смеха.

**Женский голос со странным акцентом:** Полина

**Мужской сердитый голос:** Павлу приготовиться

**Полина выходит и говорит:**

За мной ухаживал один мужчина. Ему было лет тридцать пять, у него была маленькая дочка и непонятно, что с женой. Он был москвич, жил на Солянке. Несколько раз подолгу гуляли по улицам, и он рассказывал: «Вот здесь был трактир, купцы пили чай и ели кулебяку. Вы знаете, что такое кулебяка, нет, сейчас не готовят, а, может быть, и готовят где-нибудь, но я не ел, а по этим современным ресторан не ходок, а бабушка делала, мама уже нет». Он знал всё про Москву, и рассказывал — город был как сад, у Толстого, в усадьбе в Хамовниках, было настоящее хозяйство, яблони росли, и вот среди яблонь чай пили и в карты играли. Спрашивал, показывая старые открытки: «Посмотрите, узнаете это место, ну как нет, мы же там гуляли». Рассказывал про усадьбу «Ясени» Тургенева в Бужевиле напротив «Виллы Директории» Виардо, как он сидел у себя в кабинете, русский барин, крепостник, и смотрел на её окна. «Он был зависим от женщин, сначала от матери, потом от Виардо, такой слабый, подчиняющийся характер».

Он мне не нравился, хотя он был приятный и вежливый, и у него были хорошие духи и шарф. Но каждый раз мне было так грустно идти с ним рядом, и я стараюсь быстрее спуститься по лестницам, чтобы он не успел подать мне руку. Однажды он меня опередил, подал мне руку и долго держал в своих руках мою, и я не знала, как вежливее ее высвободить. И я до сих пор не могу объяснить себе - почему же мне так было грустно от его ухаживаний.

**Павел выходит и говорит:**

Самые важные вещи открываются неожиданно, когда ты к ним не подготовлен, не ждешь, и вообще расслабленно счастлив, сидишь в гостях у друзей на даче, пьёшь хороший коньяк. Друг на кухне варит кофе. Жена качается на качелях, волосы блестят в темноте, мягкие, как на картинах венецианских художников. Я любуюсь женой, наслаждаюсь вкусом кофе и коньяка, запахом ещё нерасцветшего сада, но уже цветет и сирень, и черемуха, яблони, и даже роняют свои лепестки — белые нежные – в чашки, и мы говорим о бессмертии.

- Я вот что понял после семи месяцев в больнице, - говорит друг, - смерть не страшна, и наши души - путешественники, а тела - планеты, и вот так мы, покидая одну, прилетаем в другую.

- А я не хочу больше путешествовать, мне такое скитание по планетам надоело. Ничего в этих путешествиях нет хорошего, одни разочарования, боль, усталость. На какую планету не попади, покидаешь её полностью истраченной, — вдруг говорит моя жена, - Я хочу уже отдохнуть, пусть мою душу как-нибудь изничтожат, как Харри в Солярисе.

- Ты это серьёзно? - спрашивает жена друга.

- Серьёзно, - отвечает, - я была бы не против, если бы это сделали прямо сейчас.

Я чувствую, как она смотрит на меня, торжественно так, в упор. И я думаю, а мне ведь ещё с этими её словами предстоит как-то жить, ну хорошо, сегодняшней ночью я как-нибудь отвлекусь, картами, разговорами, выпивкой, а что делать дальше, а она сейчас раскачивается на качелях, и этой ночью будет крепко спать, и утром с наслаждением есть завтрак, так, словно ничего и не говорила.

**Женский голос со странным акцентом:** Раиса

**Мужской сердитый голос:** Руслану приготовиться

**Раиса выходит и говорит:**

Он умер быстро, там какие-то вены, весь истек. Убивать его не хотела. Конечно, жалко. Раскаиваюсь во всем. Если бы я хотела его убить, то ударила бы в голову, как Виктора.

Виктора я тоже не хотела убивать. Поссорились, он, когда пьяный был, убить мог. Я его в дом не пускала, он дверь сломал. Нет, не Эдик. Виктор. Ударил меня кулаком по голове, схватил за футболку и тягал по всей комнате. Я вырвалась, оделась, хотела к матери идти. Он опять за мной, склонял по-всякому, бил по лицу и животу. Я на третьем месяце была. Сказал, что не нужен ребенок, что сам аборт сделает. Стал выталкивать на улицу и бил, бил при этом. Я вырвалась, убежала туда вон, в кухню, взяла топор. Почему топор? Да, первое, что попало. Мне было все равно, куда бить. Попала вон в голову. Мать Виктора сказала, что я его от ревности зарубила. У него тогда Марина, упаковщица из нашего цеха, появилась. Вот они и хотели, чтобы я аборт сделала.

Я от Эдика ничего не скрывала. Он знал, как я Витьку убила. Он через пять домов жил.

Мать меня била, отец бил. Всю жизнь били, унижали.

А чего это они пишут – вещество бурого цвета? А, кровь. Почему нельзя нормально написать – кисти рук испачканы кровью?

Я его тащила, тяжелый такой. Потом в туалет не могла ходить. Ходила на улицу, за дом. Я бы все равно потом пришла и рассказала. Вещество бурого цвета.

Почему не красного? Руки у меня страшные, не смотрите. А раньше я делала маникюр. потом…Замуж, наверное, уже больше не выйду. Кто возьмет? А вдруг кто-нибудь да возьмет. Вы как думаете?

**Руслан выходит и говорит:**

Раиса, выходи за меня замуж.

**Женский голос со странным акцентом:** Светлана

**Мужской сердитый голос:** Сергею приготовиться

**Светлана выходит и говорит:**

Мы ездили с классом в монастырь. Был солнечный осенний день. Мама дала с собой в дорогу вареные яйца и хлеб, а я, стесняясь есть при всех, выкинула еду в мусорный бак. В автобусе все достали термосы с чаем, бутерброды с колбасой, и мне тоже захотелось есть. Солнце светило так ярко, по-летнему. Мы с подругой чуть-чуть приоткрыли окно. Подруга предложила бутерброд, я хотела взять его, но учительница спросила:

- Василиса, а ты что ничего не взяла с собой?

Мне стало стыдно, я отказалась от бутерброда, сказала, что тошнит, когда ем в дороге.

В деревянную купель мы зашли вчетвером – я, две мои подруги и учительница. Я стыдилась собственной наготы перед учительницей, и еще страшнее было увидеть ее голой, но учительница сняла одежду, и я увидела её обыкновенное женское полное тело, как у мамы, и почувствовала к ней что-то дочернее, чувство неловкости ушло. Учительница три раза перекрестилась и с визгом окунулась.

- Нужно три раза, — сказала строго Даша. У нее мама была верующая, и она знала правила.

- Три раза не могу — сказала учительница.

Я заставила себя зайти в воду силой и сразу окунулась, и там в воде я ощутила, что у меня нет тела, только одно сердце, и оно сейчас разорвется.

Когда я на дрожащих ногах, с глупым радостным смешком, вылезла из купели, меня накрыло волной бесконечного счастья. Я чувствовала, что душа и тело одинаковы легки и невесомы.

- Все грехи смылись, — сказала Даша.

Но какие у нас были тогда грехи.

**Выходит Сергей и показывает табличку:**

*Я нем от рождения*

**Женский голос со странным акцентом:** Тома

**Мужской сердитый голос:** Тимофею приготовиться

**Выходит Тома и говорит:**

Она сказала — перестаньте меня терзать. А мы просто разбросали игрушки и не хотели убирать. Мы с сестрой были две маленькие девочки — четырёх и восьми лет.

И я запомнила это слово — терзать. Такое страшное. И потом, все страшное, и бабушку тоже, я ассоциировала с этим словом. Бабушка часто так говорила и про себя, и про других, и даже про кошку. Смотри, как она терзает пищу. Бабушка была высокая. У нее были длинные волосы, но она всегда носила одну и ту же прическу, волосы вот так заворачивала, в пучок. Как-то раз, мы ходили с ней в баню вдвоём. Она разделась, такая большая, белая, с большими грудями и распустила волосы. Они были длинные, длинные, густые, и она долго мыла их под душем, сначала запрокидывала голову, а потом наклоняла вниз, волосы касались пола, и с них стекала пенная шампуневая вода, как молочная река. Она была тогда совсем не старая, ей было шестьдесят. Когда мы что-то ей рассказывали ей, она всегда слушала нас внимательно, не сводя глаз, стараясь не перебивать. И мы с Машей путались, коверкали слова, ей это не нравилось, она терпеливо ждала окончания рассказа, а потом делала нам замечание — девочки, излагайте свои мысли кратко и доступно, без лишних слов. Это было её второе любимое выражение — без лишних слов. Когда она что-то делала, всегда говорила: «Сейчас сварим суп без лишних слов, одевайтесь без лишних слов, ложитесь спать без лишних слов, а однажды сказала — так разболелась голова без лишних слов». Она всю жизнь проработала учителем младших классов, выросшие ученики её навещали и после школы, и я никогда не понимала — за что они её любят. И самое главное, они её совсем не боялись. А я боялась, хотя она никогда не повышала голос и давала даже разглядывать свой фотоальбом и драгоценности, их было немного — серёжки, браслет, три кольца, ожерелье, но нам с Машей казалось, что она обладательница несметных сокровищ. И ещё у неё была помада — ярко-оранжевого цвета, и, когда она спала, мы с Машей красили друг другу губы, и тут же стирали. Она однажды заметила и сделала нам замечание — но не за накрашенные губы, а за то, что взяли без спроса. Она больше любила Машу, потому что Маша была маленькая, ещё она была смешливая и необидчивая, а я наоборот. Когда мы смотрели альбом, Маша, показывая на молодых мужчин в старых кургузых одеждах, спрашивала — это твой жених, и бабушка отвечала ей каждый раз — нет, это дядя Николай, или мамин племянник Костя, а жених у меня был один — ваш дедушка, вот он, и показывала на молодого мужчину со смешным чубом, добрыми веселыми глазами. Дедушку мы никогда не видели, он умер до нашего рождения. Бабушка рассказывала, что у него был прекрасный голос, и он часто пел разные романсы. Любил романсы. И бабушка любила, только никогда не пела.

А дедушку звали так же, как и тебя. И, когда мы с тобой познакомились, бабушка сказала — выходи за него замуж, он хороший человек, только потому, что тебя звали, как дедушку.

Я все время была с ней незнакома, с бабушкой, сначала я была маленькая, и мы ни о чем не разговаривали. Потом мне казалось, что я ей не нравлюсь. Потом мне расхотелось ей нравиться, я взрослела. А она старела, старела и умерла. Конечно, я перестала ее бояться, её драгоценности постарели и померкли вместе с ней. Я стеснялась их надевать. И альбом с фотографиями мы с Машей уже не трогали. Он лежал среди ее вещей, обшитый сиреневым бархатом. Так я проглядела бабушку. А сейчас мне очень интересно понять, какой же она была. Понимаешь, это всё равно, что побывать в волшебном городе и ничего не запомнить. Но в любой город все-таки можно вернуться во второй раз, а человека вернуть нельзя.

А Маше она многое рассказывала, потому что Маша была маленькая, смешная, ну про это я уже говорила. Ну рассказывала и что? Машка ничего не помнит. Она как была бестолковая, такой и осталась.

**Тимофей выходит и говорит:**

Не могу точно сказать, каких она была лет. Мне тогда подходило к шестидесяти, а ей, как будто, лет на десять младше. Работала она проводницей в 13 СВ вагоне. А я часто ездил в командировки, в неделю по три раза туда и обратно.

Помню, иду к поезду, она стоит у дверей в своём фирменном пальто, берет так элегантно чуть на бок сдвинут, как-то ей все шло. Маленькая, аккуратная. Глаза, как голубая вода в аквариуме. И голос тихий, нежный, жалеющий.

Всегда мы с ней приятно беседовали.

- Здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Вы опять в дорогу? Осторожно, ступенька скользкая.

И потом уже в вагоне она меня спрашивала:

- Какой чай желаете: простой зеленый, черный? Элитный. Cувениры не хотите посмотреть, лотерейный билет купить?

Ничего личного. Но как сердечно она смотрела на меня. Как будто бы взглядом со мной разговаривала.

Однажды я разоткровенничался. Как худо живу c женой. Два сына у нас. Старшего из университета отчислили.

А она в ответ: «А я замуж так и не вышла, хотела от одного ребеночка родить, но испугалась. Вот кошечка у меня есть. Сиамской породы. Cтешка. Мордочка у неё, как у дитя. А ласковая какая.  Я в разъездах, так соседка моя Валентина Петровна за ней присматривает. К себе берет. Но все равно душа не на месте. Мне говорят - кошка ведь не человек, что ты так. А я о ней, как о доченьке, тоскую».

Сердце мое успокаивалось, как только видел её фигурку на перроне. Осенью - ветер, дождь; зимой - снег, холод. Она своей улыбкой любую погоду усмиряла.

«Ой, метель какая! Скорее в вагон, я вам чаю горячего принесу. А это вот вам к чаю, домашние печеньки. В магазинные неизвестно, что кладут. А я муку по три раза просеиваю, белок сбиваю так, что он искрится. А Стеше я фарш свежий накрутила и котлет налепила, и рыбных, и мясных. А она не ест. Тоскует. Мечтаю, вот выйду на пенсию, будет она при мне неотлучно».

А потом что-то случилось с моей проводницей. Оставалась она и ласковая, и приветливая, но душой как будто в другом месте, как будто томилась чем-то. И не засиживалась больше у меня. Принесёт чай и к себе.

И у меня неприятности начались. Вынудили уйти на пенсию, перестал я поездами ездить. Так год прошел. Думал о ней, скучал. Не выдержал, купил билет.

Иду по перрону, сердце стучит. У входа в вагон встретила меня незнакомая проводница.

Я все-таки решился спросить:

- В вашем вагоне работала такая женщина приятная, Надя.

- Не знаю, - говорит продавщица так равнодушно, - не знаю.

- Кошечка у неё была, Стеша.

- А, так это до меня было.  Она из дома в рейсы какую-то коробку таскала. Коробка обыкновенная, от люстры, что ли. И слышали, как она c коробкой разговаривает. Посмотрели, что там? Пеленка, и чашечка с молоком. Для кого? Да вот для кошечки. Для какой? Она молчит. Из-за этой коробки работать не могла, бегала смотреть, что да как, каждые 10 минут.

Ну и выкинули коробку, пахнет же и вообще.

Рассказывали, она, как увидела, выброситься хотела. Кто-то из пассажиров остановил. На станции бригаду вызвали. Она им все повторяла: «Кошечку мою убили».

Да.... так и не оправилась, сняли с рейса, уволили, такие дела.

**Женский голос со странным акцентом:** Ульяна

**Мужской сердитый голос:** Уту приготовиться

**Ульяна выходит и говорит:**

В тот день, когда вы возвращались с дачи, ты писал мне сообщения про ваш дом, лес, пожар в лесу, собаку, приходившую к вашему дому из леса, а я опаздывала на поезд, и писала тебе станции метро и минуты до поезда, я захотела рассказать тебе о себе, даже написала сообщение и хотела его отправить, ты вдруг отозвался из пустоты и написал — знаю в ответ на моё неотправленное послание, и я побоялась тебя спросить — что.

**Уту выходит и говорит:**

Уту с шумерского означает сияющий.

**Уту сияет**

**Женский голос со странным акцентом:** Фаина

**Мужской сердитый голос:** Федор приготовиться

**Фаина выходит и говорит:**

Я изобрела свой способ борьбы с ненавистью к человечеству, которое испытывала каждый раз, когда заходила в метро. Я представляла, что в вагоне заложена бомба, и никто про это не знает, думает по-прежнему о своём мелком, или, наоборот, о каком-нибудь никогда. И это «никогда» тут же сбывается. Взрыв, грязный пол, из головы что-то течёт, и странно, что это твоя кровь такая чёрная и густая, тем более, что никогда не видела её так много или видела, но чужую, в фильмах, куртка испорчена вконец, и мама сейчас дома, смотрит телевизор, и, может быть, больше её не увижу. Женщина рядом кричит, у неё, как в фильме ужасов оторвана рука, и из открытого места хлыщет кровь в разные стороны. Я не могу встать,и дым в глаза, и сквозь тела переступают души, поднимаются вверх, и не в силах поднять за собой обломки — головы, руки, ноги, оставляют их, как раненных на поле боя, и где-то там, в тумане, подгибая тонкие ноги, бродит Белая Лошадь и никогда не улыбается. Ходит, жуёт, как солому, развязавшиеся шарфы, заходит за плотное облако душ, исчезает.

- Кто ты? — спрашивает меня холодный и мокрый зверь во тьме воды.

- Я Фаина, я заблудилась в тумане

- Садись на мою спину, я отвезу тебя, ложись на мою спинку, вытяни ножки, баю-бай, засыпай, по горам и океанам, я серенький волчок, не ложись на бочок, я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, и от тебя уйду.

А потом, помните, по телевизору показывали, в одном городе, в Испании, в кафе подложили бомбу. Кафе, конечно в руинах, а люди буквально, как коктейль из морепродуктов, руки-ноги, волосы, такое месиво. Я была там, среди рук и ног, среди братьев и сестёр.

**Федор выходит и говорит:**

Я этот фильм больше не смотрел ни разу, переключаю канал, если вдруг его показывают, ну потому что не могу смотреть его больше, даже физически. А фильм очень хороший. Я оканчивал университет, когда мы познакомились, и целый года встречались с ней каждый день, а потом у неё перестало хватать на меня времени. Я её спрашивал — что-нибудь случилось, она устало отвечала — нет, а что может случиться, я тебя люблю, просто работа, очень много работы, и я устаю.

У неё были светлые волосы и серые глаза, дарившие и днём и ночью для каждого, кто в них смотрел, нежность. Это выражение —младенческого доверия — её глаза сохраняли и когда она рассматривала в магазинах новые платья, и когда читала пустые глянцевые журналы, или беззаветно врала по какому-нибудь поводу, совершенно пустяковому, и я с мелочной мстительностью начинал ловить её на этой лжи, и она всё больше запутывалась, запутывалась, но не сдавалась, а в глазах её полудремала, полуласкалась эта удивительная нежность. В сущности, она была хорошим человеком, добрым, отзывчивым, только очень легкомысленным, всё теряла, деньги тратила, не задумываясь на что, её вещи я часто видел на её подругах, она всё время кому-то что-то дарила, что-то рассказывала, что-то доверяла, такая, в сущности, беспутная девочка, очень милая. Часто она обнимала меня, и я ощущал щекой касание её длинных ресниц, взмах и замирание. Когда она оставалась у меня ночевать, то, утром, после ухода, в моей квартире оставался какой-то совершенно беспорядок. Рядом с ноутбуком стояла чашка с недопитым чаем, и даже в этой чашке я, после того как проходила первая волна раздражения, видел её, и в меня входило невыносимое чувство любви, смешанное с тоской и тревогой, как песок с дождём.

Отношения наши с ней, такие трогательные вначале, всё портились и портились, она часто плакала, или вдруг становилась сердитой и неприступной, чем выводила меня из себя. Я соглашался, что да, нужно расстаться, ни к чему это не приведёт, и вот так мы обменивались этими словами, тяжесть которых не осознавали ни она, ни я, и потом она, не выдерживая возможного расставания, говорила покорно — обними меня, я люблю тебя, я совсем не могу без тебя, совсем, и плакала, и я утирал эти слёзы — губами, руками, словами, сердцем, а они всё текли, текли, горькие, сладкие слёзы, её слёзы, мои слёзы, наши.

Это были солнечные дни, и четыре дня она была радостная и летняя, как в самые первые наши дни, как в самые первые. Впрочем, за эти четыре дня я видел её только один раз, случайно, она забегала ко мне на работу делать копии каких-то бумаг, она светилась счастьем, хохотала, и на лестничном пролёте между вторым и третьим этажом поцеловала меня в губы, и я весь день чувствовал вкус ее земляничной помады. Все остальные дни я только её слушал. Она звонила поздно ночью, когда я уже спал, не принимая это в расчёт, и спрашивала, как у меня дела, как я себя чувствую, и когда я говорил – хорошо, она очень радовалась — ну, Слава Богу, Слава Богу, если все хорошо, ложись тогда спать. А потом она сказала — пойдём в кино, такой хороший фильм, там играет Скарлетт Йохансон.

Она сидела какая-то присмиревшая, жевала поп-корн, и, кажется, все происходившее в фильме ее интересовало мало. Она то откидывалась на спинку кресла, то наклонялась вперед. Пустым взглядом, безо всякого выражения, смотрела на экран. Как бывает в такие дни, что они были такие, понимаешь только потом, она была расслабленно красива, совершенно простая, во всем её лице раскрашены были только губы, ресницы казались бледно-серыми от серебристого цвета экрана. Она жевала попкорн, два раза она брала мою руку в свою, и долго её так держала, когда я её спросил — ты чего? — она только улыбнулась своей прекрасной грустной улыбкой и ничего не ответила.

Только когда по экрану поползли титры, она, с каким-то отчаянием, так прыгают в море с пирса со всего разбега, не глядя мне в глаза, сказала: «Знаешь, я полюбила человека, в первый раз, он, конечно же, меня не любит, ну и ладно, это не главное, нет, ты подожди, ты не знаешь, я тебя тоже любила, но его совсем не так, то есть, его, как будто в первый раз, и дышать не могу, я очень страдаю, очень, я так люблю его…»

А дальше я ее уже не слушал, в кинозале включили свет, и все зрители давно его покинули, кроме нас, а мы сидели в этих креслах, молчали, и я не знаю, сколько прошло времени, но зашла билетерша и попросила нас выйти, потому что начинался другой сеанс, и если мы желаем продолжить просмотр, то нам следует купить новые билеты.

Я ответил — конечно, нет… И вышел… А что было с ней — не знаю… Может быть, она осталась ещё на один сеанс, не знаю.

**Женский голос со странным акцентом:** Хельга

**Мужской сердитый голос:** отец Христофор приготовиться

**Хельга выходит и говорит:**

Ощущение счастья было невыносимым. Я стояла, обхватив себя руками, словно пытаясь удержать на земле.

- Смотрите, слева башня, - сказал пожилой экскурсовод тяжелым грустным голосом. И все посмотрели. Облако, озеро, башня. Смотрите облако, озеро, башня. Озеро, облако, башня. Облако заслонило башню. В него, как в молоко, просочилось синее пятно. Я зажмурилась. Оказалось, что женщина в синем платье прямо перед мой фотографировала что-то, широко разведя локти. И это синее платье я тоже когда-то буду вспоминать, как счастье. Экскурсовод развернул группу, и неуклюже, боком, все стали спускаться вниз.

- Смотрите, - печальный гид, как фокусник, обвел рукой вдруг открывшиеся горы, и горы исчезли. Гид исчез. Голоса. Люди. Все. Всё. Только платье взлетало, и ударялось о ноги. Женщина рядом достала ватрушку и откусила. Спускались всё вниз и вниз, горы тоже казалось шли за нами. Сухой жаркий день. Вспомнила, как в любимом фильме, мужчина рассказал свою тайну в раскрытое дупло дерева. Выдохнул и спрятал, чтобы больше никому и никогда, чтобы не мучило, не тревожило, не болело. Деревьев не было. Была только чья-то спина. И, сложив ладони в молящийся рупор, я выдохнула в эту спину - я счастлива. Спина отшатнулась. На несколько секунд стало совсем тихо, но через какое-то время жизнь ворвалась, заговорила сразу всеми пятнадцатью голосами, и среди них выделялся своей бесконечной усталостью голос экскурсовода. А счастья больше не было.

**Христофор выходит и говорит: Господи, помилуй (12 раз)**

**Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно:** Есть ли среди нас, носящие имена начинающими на букву Ц?

**Молчание в ответ.**

**Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно:** Пропускаем. Следующие.

Есть ли кто-нибудь на букву Ч?

**Женский голос со странным акцентом: Чулпан**

**Чулпан выходит и говорит:**

У них в школе был открытый урок, пришли все родители, пришла мама этого жуткого мальчика Борисова, который мою Карину постоянно дергает, красивая такая, лет двадцати шести, ну я думаю, в восемнадцать родила, какое там может быть у мальчика воспитание. Я села на последний ряд, опоздала немного. Учительница стала спрашивать у детей, что такое жизнь. Все дают заученные ответы с поклонами нам родителям, спасибо мама и папа, что вы подарили нам жизнь. Мою Карину не спрашивали. Потом я отошла на несколько минут, звонили с работы, когда вернулась, они говорили уже о том, для чего человек живёт.

Отвечали по цепочке — для того, чтобы принести пользу другим людям, для того, чтобы создать прекрасные произведения искусства, чтобы создать семью, чтобы открыть новые планеты, чтобы стать президентом, потом очередь дошла до моей Карины, и она говорит — иногда человек живёт только для того, чтобы испортить жизнь другому человеку.

А эта дура, учительница, вместо того, чтобы все в шутку перевести, побледнела и шепотом говорит: Карина, мы же с тобой другую фразу учили.

**Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно: Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь пропускаем, ибо много вас, а толку нет.**

**Раздается ропот.**

**Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно: Следующий.**

**Женский голос со странным акцентом: Элина**

Мне нравился фотограф Ла Шапель. А нравился вот чем, у него на тыльной стороне ладони была татуировка — имя и фамилия человека, которого он любил, и который погиб. Вот и все. Но в этом было скрыто наше тайное родство. Я тоже любила одного человека, и он погиб в семнадцать лет. Застрелился из пистолета отца в комнате родителей в солнечный майский день, когда те уехали на дачу. Умер мгновенно. Перед выстрелом он позвонил своей невесте, сказал, что сейчас застрелится и просит никого не винить в своей смерти. Да, у него была невеста, семнадцатилетняя девочка, с большими выпуклыми глазами. Я её встретила как-то случайно. Я с коляской, и она с коляской. У меня первый ребенок — девочка, а у нее уже третий сын, муж возглавляет какой-то отдел, она тоже до первого декрета работала в крупной компании юристом, но вот родила ребенка, и декрет за декретом, дети – это счастье. Да, дети — это счастье — а больше говорить было не чем. А тогда эта невеста приехала к своему жениху, звонила в дверь, но никто ей не открыл. Вызвали милицию, взломали дверь. Я не помнила, кто это рассказывал. Кажется, Волкова, она всегда все узнавала раньше всех. И, главное, говорила Волкова — застрелился из-за карточного долга — сто тысяч рублей. Какой-то невыносимой тяжестью легла на мою душу эта немыслимая сумма, как же можно было проиграть такие деньги, и откуда можно было их взять. Моя стипендия была триста рублей, и такой суммой я мерила жизнь. А сейчас кажется — ну что такое деньги перед ценой жизни. Даша сказала — ну и что, он бы еще проиграл, застрелился бы в другой раз, игроки — конченые люди. — Как же конченые — возмущалась я, — ведь ему было всего семнадцать. Вот, Николай Ростов, проиграл огромные деньги Дорохову, тоже хотел застрелиться. И так спорили в кафе долго – такие молодые были. А сейчас, этот мальчик мне по возрасту уже не какой не жених, а почти сын, и жалко его, как сына. Вечером спросила мужа, чтобы он сделал, если бы его гипотетический сын проиграл большую сумму денег. Убил бы — ответил муж. Вот и он себя тоже убил.

Я все хочу вспомнить, каким он был, но не получается. Смуглый, волосы светлые, кудрявые, и всё. Отчетливо я помню только маленькую квартиру, трех женщин около гроба, одна из них седая, с измученным выплаканным взглядом - мать. Он был поздний ребенок. Отец стоит около окна, маленький, худенький. После смерти сына спился, ушел с работы, умер. Одна из женщин, полная, с белыми волосами, выглядывающими из-под чёрного платка, сказала мне: “Лежит, как жених, как живой, что ж вам такой красавец был не нужен”. И я, преодолевая страх, посмотрела и увидела — серый костюм, гладкое смуглое лицо, совсем неизмененное смертью, и у правого виска черная дырочка. Потом мы с подругой выскочили из квартиры, бегом, бегом мимо черной крышки гроба у его двери, скорее на воздух, на солнце. Мы пробежали так два квартала.

Мне так хотелось тогда, чтобы той страшной квартиры никогда не было в моей жизни, и тех заплаканных женщин, и его седого отца, застывшего у окна, и маленькой черной дырочки у его виска.

**Эдуард выходит и говорит:**

Эдуард Козлов.

1981-2016

Скорбим и помним

**Женский голос со странным акцентом: Юлия**

**Юлия выходит и говорит:**

Участок перед домом зарос травой. Мама ходит по участку, собирает сухие ветки и говорит, что скоро здесь все расчистит, и будут грядки с морковью, с укропом, обязательно цветы, там смородиновые кусты, там яблони. Маленькая Аня боится травы и сидит у меня на коленях. И мама ворчит — вот ты сама её делаешь такой нелюдимой, вцепилась в тебя, как клещ, отпусти ребёнка, пусть побегает, и тут же Анечке другим тоном — Вот, Анечка, скоро все будет расти, будешь приезжать к бабушке и есть с куста ягодки.

Отец не выходит из дома, смотрит телевизор в своей комнате, которая ещё пуста и не обжита. В ней холодно. Папа говорит — вот перевезу своё кресло, и стол, поставлю всё сюда, к окну, буду работать у окна, всегда мечтал. И сразу стало грустно, потому что новый дом был куплен, как замена работе, которой уже у папы не было. И в старой квартире он так тосковал, что не мог там жить, потому что там все было связано с его ежедневным ритуалом — уходом и возвращением.

Из окна его комнаты виден лес — сырой, холодный, верхушки деревьев накладываются друг на друга, как декорации в кукольном театре. Редко проезжают машины, проходят коровы, тяжело переваливаясь, разметая хвостом песок. Их дом последний в конце деревни. Коровы устраиваются на песке, как огромные кошки.

- Вот не люблю песок, — говорит отец, — везде остается. Жаль, что река далеко.

Он вздыхает.

Живут они с мамой вместе, но всё равно врозь. У каждого своя комната. И в маминой как будто теплее, светлее. Коробки от обуви стоят стеллажами. В них столько всего — нитки, вязание, бусы, записные книжки, семена, счёта за квартиру, фотографии.

Мама говорит — весь хлам из квартиры привезла сюда. А квартира такая пустая осталась, как ночной аэропорт.

- И няню зачем взяли? — возвращается мама к наболевшей теме. Привезла бы сюда на целое лето, а зимой уж я вернусь в город.

Я молчу.

- Мама, — перебиваю я её, — что отцу на день рождения подарить?

- Да что ему дарить? Ты бы лучше Аню почаще сюда возила.

Вечером перед отъездом решили пройтись по лесу. Отец идёт медленно, в тёплой куртке, хотя и сентябрь. Ему всегда холодно.

- Старик, хоть сейчас валенки одевай. Надо было с твоей матерью давно развестись, — продолжает он излюбленную тему.

- Папа, что тебе подарить на день рождения?

- Да что дарить? Всё есть, просто приезжайте.

- Папа, папа, — кричит Аня, выбегая навстречу к мужу. И мой отец невольно вздрагивает и улыбается.

Мы целуемся, прощаемся.

- В деревне темнеет раньше, чем в городе, — говорит мама.

Я сажусь в машину, но отец удерживает меня за плечо:

- Собаку, собаку подарите, эрдельтерьера, хорошо?

Мы едем домой. Я рассказываю мужу:

- А потом он спросил — не слишком дорогой подарок?

- Ну он не может, чтобы совсем без дегтя, — отвечает муж

- Не может, — говорю я.

**Мужской сердитый голос:** Юрий, приготовиться

**Юрий выходит и говорит:**

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

**Лает собака, солнце освещает надгробия. Люди ходят по кладбищу. Разговаривают между собой.**

**- Пусть земля уляжется**

**- Я ноготки посадила**

**- Смотри, сколько венков**

**- Гранитные плиты такие тяжелые**

**- Птиц то сколько**

**- Урна вон. С кладбища ничего не надо забирать.**

**Мужчина и женщина уходят за кулисы.**

**Женский голос со странным акцентом:** На сегодня закончили. Завтра начнем со второго ряда и можно с конца.

**Мужской сердитый голос:** Кто-то говорит как будто**.**

**Женский голос со странным акцентом:** Это не наш, кто-то живой. Плачет.

**Прислушиваются.**

**Женский голос со странным акцентом и мужской сердитый голос одновременно спрашивают:** кто говорит?

 **Я**

**Говорю:**

Растягивает, тянет, высасывает, поглощает, дергает, рвет, тащит, волочит, вытягивает, дергает, рвет, выкидывает, изводит, изматывает, убивает.

Пречерный, черный, запачканный, замазанный, выпачканный, черноватый, тяжелый, густой, нечистый, нерадостный, непроницаемый, грязный, бурый, медный, ржавый, румяный, пунцовый, пурпуровый, огненный, кровавый, алый, яркий, больной.

Отводит, отдает, открывает, отпускает, отвязывает, отвешивает, отбрасывает.

Желтый, яичный, плотный, тягучий, сплошной, полнозвучный, глухой, серый, тусклый, смурый, бесцветный, холодный, бледный, белый, мертвый.

Плачет, скулит, стенает, стонет, молчит, всхлипывает, кричит, стонает, вопит, воет, слезится, разливается, льется, край, потолок, стена, потолок, дно, до дна, без дна, бездна, без души, без тела, без тела, без души, без тела, без тела, бестело, тело, тепло, теплый, слезный, белый, мой, единый, один, она, смотрит.

Берет, берут, обнимают, жалеют, целуют, покрывают, щупают, щекочут, тормошат, задевают, доходят, входят, в живое, живет, во мне, в меня.

Молочное, сырое, влажное, горячее, течет, текло, пьет, пью, любит, она, любит, ее, люблю, Я.